Иван Сергеевич Тургенев

Андрей Колосов

Иван Тургенев

Андрей Колосов

«Public Domain»
1844

Тургенев И. С.

Андрей Колосов / И. С. Тургенев — «Public Domain», 1844

Повестью «Андрей Колосов» Тургенев не только сводил счеты с собственным юношеским романтизмом и восторженной мечтательностью; он включался и в общую борьбу с обветшалыми, но еще живучими романтическими традициями. Естественно, что новая, хотя во многом еще и незрелая, повесть Тургенева вызвала одобрение Белинского: «„Андрей Колосов“ г. Т. Л. – рассказ чрезвычайно замечательный по прекрасной мысли: автор обнаружил в нем много ума и таланта, а вместе с тем и показал, что он не хотел сделать и половины того, что бы мог сделать, оттого и вышел хорошенький рассказ там, где следовало выйти прекрасной повести».

© Тургенев И. С., 1844
© Public Domain, 1844

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента. 12
Комментарии

Иван Сергеевич Тургенев
Андрей Колосов

В небольшой порядочно убранной комнате, перед камином, сидело несколько молодых людей. Зимний вечер только что начинался; самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей. Каждый излагал свое мнение как умел; голоса возвысились и зашумели. Один небольшой, бледный человечек, который долго слушал, попивая чай и покуривая сигарку, разглагольствования своих товарищей, внезапно встал и обратился ко всем нам (я тоже был в числе споривших) с следующими словами:

– Господа! все ваши глубокомысленные речи в своем роде хороши, но бесполезны. Каждый, как водится, узнаёт мнение своего противника и каждый остается при своем убеждении. Но мы не в первый раз сходимся, не в первый раз мы спорим и потому, вероятно, уже успели и высказаться и узнать мнения других. Так из чего же вы хлопочете?

Сказав эти слова, небольшой человечек небрежно стряхнул в камин пепел с сигарки, прищурил глаза и спокойно улыбнулся. Мы все замолчали.

– Так что ж нам, по-твоему, делать? – сказал один из нас, – играть в карты, что ли? лечь спать? разойтись по домам?

– Приятно играть в карты и полезно спать, – возразил небольшой человечек, – а разойтись по домам теперь еще рано. Но вы меня не поняли. Послушайте: я предлагаю каждому из вас, уж если на то пошло, описать нам какую-нибудь необыкновенную личность, рассказать нам свою встречу с каким-нибудь замечательным человеком. Поверьте мне, самый плохой рассказ гораздо дельнее самого отличного рассуждения.

Мы задумались.

– Странное дело, – заметил один из нас, большой шутник, – кроме самого себя, я не знаю ни одного необыкновенного человека, а моя жизнь вам всем, кажется, известна. Впрочем, если прикажете…

– Нет, – воскликнул другой, – не нужно! Да что, – прибавил он, обращаясь к небольшому человечку, – начни ты. Ты нас всех сбил с толку, тебе и книги в руки. Только смотри, если твой рассказ нам не понравится, мы тебя освищем.

– Пожалуй, – отвечал тот.

Он стал у камина; мы уселись вокруг него и притихли. Небольшой человечек посмотрел на всех нас, взглянул в потолок и начал следующим образом:

– Десять лет тому назад, милостивые государи мои, я был студентом в Москве. Отец мой, добродетельный степной помещик, отдал меня на руки отставному немецкому профессору, который за сто рублей в месяц взялся меня поить, кормить и наблюдать за моею нравственностью. Этот немец был одарен весьма важной и степенной осанкой; я его сначала порядком побаивался. Но в один прекрасный вечер, возвратившись домой, я с невыразимым умилением увидел своего наставника, восседающего с тремя или четырьмя товарищами за круглым столом, на котором находилось довольное количество пустых бутылок и недопитых стаканов. Увидев меня, мой почтенный наставник встал и, размахивая руками и заикаясь, представил меня честной компании, которая вся тотчас же предложила мне стакан пунша. Это приятное зрелище освежительно подействовало на мою душу; будущность моя предстала мне в самых привлекательных образах. И действительно: с того достопамятного дня я пользовался неограниченной свободой и только что не колотил своего наставника. У него была жена, от которой вечно несло дымом и огуречным рассолом; она была еще довольно молода, но уже не имела ни одного переднего зуба. Известно, что все немки весьма скоро лишаются этого необходимого украшения человеческого тела. Я о ней упоми-

наю единственно потому, что она в меня влюбилась страстно и чуть-чуть не закормила меня насмерть.

– К делу, к делу, – закричали мы. – Уж не свои ли похождения ты хочешь нам рассказывать?

– Нет, господа! – возразил спокойно небольшой человечек, – я обыкновенный смертный. Итак, я жил у моего немца, как говорится, припеваючи. В университет я ходил не слишком прилежно, а дома решительно ничего не делал. В весьма короткое время сошелся я со всеми моими товарищами и со всеми был на «ты». В числе моих новых друзей находился один довольно порядочный и добрый малый, сын отставного городничего. Его звали Бобовым. Этот Бобов повадился ко мне ходить и, как кажется, полюбил меня. И я его… знаете ли, не то чтоб любил, не то чтоб не любил, так как-то… Надобно вам сказать, что у меня в целой Москве не было ни одного родственника, исключая старого дяди, который у меня же иногда просил денег. Я никуда не ходил и в особенности боялся женщин; я также избегал знакомства с родителями моих университетских товарищей, с тех пор как один из этих родителей отодрал своего сына при мне за вихор – за то, что у него пуговица на мундире отпоролась, а у меня в тот день на всем сюртуке не находилось более шести пуговиц. В сравнении со многими из моих товарищей я слыл человеком богатым; отец мой изредка присылал мне небольшие пачки синих полинялых ассигнаций,[1] а потому я не только наслаждался независимостью, но у меня постоянно были льстецы и прислужники… что я говорю – у меня! даже у моей куцей собаки Армишки, которая, несмотря на свою легавую породу, до того боялась выстрела, что один вид ружья повергал ее в тоску неописанную. Впрочем, я, как всякий молодой человек, не был лишен того глухого, внутреннего брожения, которое обыкновенно, разрешившись дюжиной более или менее шершавых стихотворений, оканчивается весьма мирно и благополучно. Я чего-то хотел, к чему-то стремился и мечтал о чем-то; признаюсь, я и тогда не знал хорошенько, о чем именно я мечтал. Теперь я понимаю, чего мне недоставало: я чувствовал свое одиночество, *жаждал* сообщения с так называемыми живыми людьми; слово: жизнь (выговаривай: *жызнь*) звучало в моей душе, и я с неопределенной тоской прислушивался к этому звуку… Валерьян Никитич, пожалуйте мне пахитос.

Закурив пахитос,[2] небольшой человечек продолжал:

– В одно прекрасное утро Бобов, запыхавшись, прибежал ко мне: «Знаешь, брат, великую новость? Колосов приехал». – «Колосов? что за птица господин Колосов?» – «Ты его не знаешь? Андрюшу Колосова? Пойдем, братец, к нему поскорее. Он вчера вечером вернулся с *кондиции*».[3] – «Да кто он такой?» – «Необыкновенный, братец, человек, помилуй!» – «Необыкновенный человек, – промолвил я, – ступай же ты один. Я останусь дома. Знаем мы ваших необыкновенных людей! Какой-нибудь полупьяный виршеплет с вечно восторженной улыбкой!..» – «Э, нет! Колосов не такой». Я было хотел заметить Бобову, что господину Колосову следовало самому явиться ко мне; но, не знаю почему, послушался Бобова и пошел. Бобов привел меня в один из самых грязных, кривых и узких переулков Москвы… Дом, в котором жил Колосов, был выстроен на старинный образец, хитро и неудобно. Мы вошли на двор; толстая баба развешивала белье на веревочки, протянутые от дома к забору… дети перекрикивались на деревянной лестнице…

– К делу! к делу! – возопили мы.

– Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного.[4] Пожалуй! Через темный и узкий проход добрались мы до комнаты Колосова; вошли. Вы, вероятно, имеете приблизительное понятие о том, что такое комната бедного студента. Прямо перед дверью на комоде сидел Колосов и курил трубку. Он дружески протянул Бобову руку и вежливо мне поклонился. Я взглянул на Колосова и тотчас же почувствовал неотразимое влечение к нему. Господа! Бобов не ошибался: Колосов был действительно необыкновенный человек. Позвольте мне описать вам его несколько подробнее… Он был роста

довольно высокого, строен, ловок и весьма недурен собою. Его лицо… Я нахожу, господа, что весьма трудно описать чье-нибудь лицо! Легко перебрать поодиночке все отдельные черты; но каким образом передать другому то, что составляет отличительную принадлежность, сущность именно *этого* лица?

– То, что Байрон называет: «the music of the face»[1],[5] – заметил один перетянутый и бледный господин.

– Так-с… А потому я ограничусь одним замечанием: то особенное «нечто», о котором я сейчас упомянул, состояло у Колосова в беззаботно веселом и смелом выражении лица да еще в улыбке, чрезвычайно пленительной. Родителей своих он не помнил, воспитан был на медные гроши в доме какого-то отдаленного родственника, который за взятки был выключен из службы. До пятнадцатилетнего возраста жил он в деревне; потом попал в Москву к старой, глухой попадье, пробыл у ней года два, вступил в университет и начал жить уроками. Он преподавал историю, географию и российскую грамматику, хотя об этих науках имел понятие слабое; но, во-первых, у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников;[6] а во-вторых, требования почтенных купцов, поручавших Колосову образование своих детищ, были слишком ограничены. Колосов не был ни остряком, ни юмористом; но вы, господа, не можете себе представить, как охотно все мы покорялись этому человеку. Мы как-то невольно любовались им; его слова, его взгляды, его движения дышали такой юношеской прелестью, что все его товарищи были влюблены в него по уши. Профессора считали его малым неглупым, но «без больших способностей» и ленивым. Присутствие Колосова придавало особенную стройность нашим вечерним сходкам: веселость наша при нем никогда не переходила в безобразное буянство; становилось ли всем нам грустно – эта полудетская грусть при нем разрешалась тихим, иногда довольно дельным разговором и никогда не превращалась в хандру. Вы улыбаетесь, господа, – я понимаю вашу улыбку; точно, многие из нас впоследствии оказались порядочными пошлецами! Но молодость… молодость…

Oh talk not to me of a name great in story!
The days of our youth are the days of our glory…[2][7] —

промолвил тот же бледный господин…

– Фу ты, чёрт, какая у вас память! и всё из Байрона! – заметил рассказчик. – Словом, господа, Колосов был душою нашего общества. Я к нему привязался так сильно, как после того не привязывался ни к одной женщине. И между тем мне и теперь не совестно вспомнить эту странную любовь – именно любовь, потому что я, помнится, испытал тогда все терзания этой страсти, например, ревность. Колосов одинаково любил всех нас, но в особенности жаловал одного молчаливого, белокурого и смирного малого по имени Гаврилова. С этим Гавриловым он почти никогда не расставался, часто с ним перешёптывался и вместе с ним исчезал из Москвы, бог весть куда, дня на два, на три… Колосов не любил расспросов, и я терялся в догадках. Не простое любопытство меня волновало; мне хотелось пойти в товарищи, в оруженосцы к Колосову; я ревновал к Гаврилову; я завидовал ему; я никак не мог, объяснить себе причину странных отлучек Колосова. Между тем в нем не было ни той таинственности, которою щеголяют юноши, одаренные самолюбием, бледностью, черными волосами и «выразительным» взглядом, ни того поддельного равнодушия, под которым будто бы скрываются громадные силы; нет: он весь был, как говорится, нараспашку; но когда им овладевала страсть, во всем существе его внезапно проявлялась порывистая,

[1] «музыка лица» *(англ.)*.

[2] О, не говорите мне о славном имени!Дни нашей молодости – дни нашей славы…

стремительная деятельность; только он не тратил своей силы по-пустому и никогда, ни в каком случае не становился на ходули. Кстати, господа… скажите правду: не случалось ли вам сидеть и курить трубку с таким уныло-величественным видом, как будто вы только что решились на великий подвиг, а вы просто размышляете о том, какого цвета сшить себе панталоны?.. Но дело в том, что я первый заметил в веселом и ласковом Колосове эти невольные, страстные порывы. Недаром говорят, что любовь проницательна. Я решился – во что бы то ни стало – втереться в его доверенность. Мне не для чего было волочиться за Колосовым; я так детски благоговел перед ним, что он не мог сомневаться в моей преданности… но, к неописанной моей досаде, я должен был, наконец, убедиться, что Колосов избегал более тесного сближения со мною, что он как будто тяготился моей непрошенной привязанностью. Раз как-то он с явным неудовольствием попросил у меня денег взаймы – и на другой день с насмешливой благодарностью возвратил мне их снова. В течение целой зимы мои отношения к Колосову не изменились ни на волос; я часто сравнивал себя с Гавриловым – и не мог понять, чем он лучше меня… Но вдруг всё переменилось. В половине апреля Гаврилов захворал и умер на руках Колосова, который не отлучался ни на миг из его комнаты и целую неделю после его смерти не выходил никуда. Все мы сожалели о бедном Гаврилове; этот бледный, молчаливый человек как будто предчувствовал свою кончину. Я тоже искренно сожалел о нем, но сердце во мне замирало, ждало чего-то…

В один незабвенный вечер… я лежал один на диване и бессмысленно глядел в потолок… кто-то быстро растворил дверь моей комнаты и остановился на пороге; я приподнял голову: передо мной стоял Колосов. Он медленно вошел и сел подле меня «Я пришел к тебе, – начал он довольно глухим голосом, – потому что ты более всех других меня любишь… Я потерял своего лучшего друга, – голос его слегка задрожал, – и чувствую себя одиноким… Вы все не знали Гаврилова… вы не знали…» Он встал, походил по комнате и быстро подошел ко мне… «Хочешь ли ты заменить мне его?» – сказал он и подал мне руку. Я вскочил и бросился к нему на грудь. Моя искренняя радость его тронула… Я не знал, что сказать, я задыхался… Колосов глядел на меня и тихонько посмеивался. Подали чай. За чаем он разговорился о Гаврилове; я узнал, что этот робкий и кроткий мальчик спас Колосову жизнь – и я должен был самому себе сознаться, что на месте Гаврилова я бы не мог не проболтаться – не похвастаться своим счастием. Пробило восемь часов. Колосов встал, подошел к окну, побарабанил по стеклам, быстро повернулся ко мне, хотел что-то сказать… и молча сел на стул. Я взял его за руку «Колосов! право, право, я заслуживаю твою доверенность!» Он взглянул мне прямо в глаза. «Ну, если так, – промолвил он, наконец, – бери шапку, пойдем». – «Куда?» – «Гаврилов меня не спрашивал». Я тотчас же замолчал. «Ты умеешь играть в карты?» – «Умею». Мы вышли, взяли извозчика к …ой заставе. У заставы мы слезли. Колосов пошел вперед очень скоро; я за ним. Мы шли по большой дороге. Пройдя с версту, Колосов свернул в сторону. Между тем настала ночь. Направо – в тумане мелькали огни, высились бесчисленные церкви громадного города; налево, подле леса, паслись на лугу две белые лошади; перед нами тянулись поля, покрытые сероватыми парами. Я шел молча за Колосовым Он вдруг остановился, протянул руку вперед и промолвил: «Вот куда мы идем». Я увидел темный небольшой домик; два окошка слабо светились в тумане. «В этом доме, – продолжал Колосов, – живет некто Сидоренко, отставной поручик, с своей сестрой, старой девой – и дочерью. Я тебя выдам за своего родственника – ты сядешь с ним играть в карты». Я молча кивнул головой. Я хотел доказать Колосову, что я умел молчать не хуже Гаврилова… Но, признаюсь, любопытство сильно меня мучило. Подходя к крыльцу домика, я увидел в освещенном окне стройный образ девушки… Она, казалось, нас ждала и тотчас исчезла. Мы вошли, в темную и тесную переднюю. Кривая, горбатая старушка вышла к нам навстречу и с недоумением посмотрела на меня. «Иван Семеныч дома?» – спросил Колосов. «Дома-с». «Дома!» – раздался густой мужской голос из-за двери. Мы перешли в залу, если можно

назвать залой длинную, довольно грязную комнату; старое небольшое фортепьяно смиренно прижалось к уголку подле печки; несколько стульев торчало вдоль стен, некогда желтых. Посреди комнаты стоял мужчина лет пятидесяти, высокого роста, сутуловатый, в замасленном шлафроке. Я взглянул на него попристальнее: угрюмое лицо, волосы щетиной, низкий лоб, серые глаза, огромные усы, толстые губы… «Хорош гусь!» – подумал я. «Давненько не видали мы вас, Андрей Николаич, – промолвил он, протягивая к нему свою безобразную красную руку, – давненько! А где Севастьян Севастьянович?» – «Гаврилов умер», – печально проговорил Колосов. «Умер? вот те на! А это кто?» – «Мой родственник – честь имею представить: Николай Алекс…» – «Хорошо, хорошо, – перебил его Иван Семеныч, – рад, очень рад. А в карты играет?» – «Играет, как же!» – «Ну и прекрасно; мы вот сейчас и засядем. Эй! Матрена Семеновна, где ты? карточный стол – поскорей!.. Да чаю!» С этими словами г-н Сидоренко пошел в другую комнату. Колосов посмотрел на меня. «Послушай, – сказал он, – мне бог знает как совестно!..» Я зажал ему рот. «Что ж вы, батюшка, как вас зовут, – пожалуйте сюда», – воскликнул Иван Семеныч. Я вошел в гостиную. Гостиная была еще меньше столовой. На стенах висели какие-то уродливые портреты; перед диваном, из которого в нескольких местах высовывалась мочалка, стоял зеленый стол; на диване восседал Иван Семеныч и тасовал уже карты; подле него, на самом кончике кресел, сидела сухощавая женщина в белом чепце и черном платье, желтая, сморщенная, с подслеповатыми глазками и тонкими кошачьими губами. «Вот, – сказал Иван Семеныч, – рекомендую; прежний-то умер; Андрей Николаевич привел другого; посмотрим, как он играет!» Старуха неловко поклонилась и раскашлялась. Я оглянулся; Колосова уже не было в комнате. «Полно тебе кашлять, Матрена Семеновна, овцы кашляют», – проворчал Сидоренко. Я сел; игра началась. Господин Сидоренко ужасно горячился и бесился при малейшей моей ошибке; осыпал сестру упреками; но она, по-видимому, успела привыкнуть к любезностям своего братца и только помаргивала глазами. Однако ж, когда он объявил Матрене Семеновне, что она «антихрист», бедная старуха вспыхнула. «Вы, Иван Семеныч, – проговорила она с сердцем, – супругу свою Анфису Карповну уморили, а меня не уморите!» – «Будто?» – «Нет, не уморите». – «Будто?» – «Нет! не уморите!» Таким образом они довольно долго перебранивались. Мое положение было, как изволите видеть, не только незавидно, но даже просто глупо; я не понимал, зачем Колосову вздумалось привести меня… Я никогда не был хорошим игроком; но тут я сам чувствовал, что играю из рук вон плохо. «Нет! – повторял беспрестанно отставной поручик, – далеко вам до Севастьяныча! Нет! вы рассеянно играете!» Я, разумеется, внутренно посылал его ко всем чертям. Эта пытка продолжалась часа два; меня обыграли в пух. Перед концом последнего роббера услышал я за своим стулом легкий шум – оглянулся и увидел Колосова; подле него стояла девушка лет семнадцати и с едва заметной улыбкой посматривала на меня. «Набей-ка мне трубку, Варя», – проворчал Иван Семеныч. Девушка тотчас порхнула в другую комнату. Она была не очень хороша собой, довольно бледна, довольно худа; но я и прежде и после не видывал ни таких глаз, ни таких волос. Мы кое-как доиграли роббер; я расплатился. Сидоренко закурил трубку и возопил: «Ну, теперь пора ужинать!» Колосов представил меня Варе, то есть Варваре Ивановне, дочери Ивана Семеныча. Варя сконфузилась; и я сконфузился. Но Колосов, по своему обыкновению, в несколько мгновений привел всё и всех в порядок: усадил Варю за фортепьяно, попросил ее сыграть плясовую и пустился отхватывать казачка взапуски с Иваном Семенычем. Поручик вскрикивал, топал и выкидывал ногами такие непостижимые штуки, что сама Матрена Семеновна расхохоталась, раскашлялась и ушла к себе наверх. Горбатая старушонка накрыла стол; мы сели ужинать. За ужином Колосов рассказывал разные вздоры; поручик смеялся оглушительно; я исподлобья поглядывал на Варю. Она глаз не сводила с Колосова… и я по одному выражению ее лица мог догадаться, что она и любит его – и любима им. Губы ее были слегка раскрыты, голова немножко нагнулась вперед, по всему лицу играла легкая краска; она изредка

глубоко вздыхала, вдруг опускала глаза и тихонько смеялась… Я радовался за Колосова… А между тем мне было, чёрт возьми, завидно…

После ужина мы с Колосовым тотчас взялись за шапки, что, однако ж, не помешало поручику, позевывая, сказать нам: «Вы, господа, засиделись; пора вам и честь знать». Варя проводила Колосова до передней. «Когда же вы придете, Андрей Николаевич? – шепнула она ему. «На днях, непременно». – «Приведите ж и его», – прибавила она с весьма коварной улыбкой. «Как же, как же…» «Покорнейший слуга!» – подумал я…

На возвратном пути узнал я следующее. Месяцев шесть тому назад Колосов довольно странным образом познакомился с господином Сидоренко.[8] В один дождливый вечер Колосов возвращался домой с охоты – и подходил уже к …ой заставе, как вдруг в недальнем расстоянии от дороги он услышал стоны, прерываемые проклятиями. С ним было ружье; не думая долго, отправился он прямо на крик и нашел на земле человека с вывихнутой ногой. Этот человек был господин Сидоренко. С большим трудом проводил он его до дому, поручил его попечениям испуганной сестры и дочери, сбегал за доктором… Между тем настало утро; Колосов едва мог стоять на ногах от усталости. С позволения Матрены Семеновны он бросился на диван в гостиной и проспал часов до восьми. Проснувшись, он тотчас хотел было уйти домой; но его удержали и напоили чаем. Ночью ему удалось увидать раза два мельком бледное личико Варвары Ивановны; он не обратил на нее особенного внимания, но утром она ему решительно понравилась. Матрена Семеновна болтливо восхваляла и благодарила Колосова; Варя сидела молча, разливая чай, изредка поглядывала на него и с робкой, стыдливой услужливостью подавала ему то чашку, то сливки, то сахарницу. В это время поручик проснулся, громким голосом потребовал трубку и, помолчав немного, закричал: «Сестра! а сестра!» Матрена Семеновна отправилась к нему в спальню. «Что, этот… как его зовут, чёрт знает! ушел, что ли?» – «Нет, я еще здесь, – отвечал Колосов, подойдя к дверям. – Вам лучше теперь?» – «Лучше, – отвечал поручик, – войдите-ка сюда, батюшка». Колосов вошел. Сидоренко посмотрел на него и неохотно проговорил: «Ну, спасибо; заходите ж когда-нибудь ко мне – как вас зовут, чёрт вас знает?» – «Колосов», – возразил Андрей. «Ну, хорошо, хорошо, заходите; а теперь вам нечего здесь киснуть; чай, вас дома ждут». Колосов вышел, простился с Матреной Семеновной, поклонился Варваре Ивановне и вернулся домой. С этого дня он начал ходить к Ивану Семенычу сперва изредка, потом всё чаще и чаще. Наступило лето; он возьмет, бывало, ружье, наденет ягдташ и отправится будто на охоту; зайдет к отставному поручику – да и засидится у него до вечера. Отец Варвары Ивановны прослужил лет двадцать пять в армии, нажил небольшие деньжишки и купил себе несколько десятин земли в двух верстах от Москвы. Он едва умел читать и писать; но, несмотря на свою наружную неповоротливость и грубость, был смышлен и хитер, и даже плутоват подчас, как многие малороссы. Он был эгоист страшный, упрям, как вол, и вообще весьма нелюбезен, особенно с незнакомыми; мне даже случалось подмечать в нем что-то похожее на презрение ко всему роду человеческому. Он ни в чем себе не отказывал, как избалованное дитя, никого знать не хотел и жил «в свое удовольствие». Мы как-то раз разговорились с ним о свадьбах вообще. «Свадьба… свадьба, – проговорил он. – Ну, на какой дьявол выдам я свою девку замуж? Ну, для чего? Чтоб ее муженек тузил ее, как я тузил свою покойницу? А я-то с кем останусь?» Вот каков был отставной поручик Иван Семеныч. Колосов ходил к нему, – разумеется, не на его счет, а на счет его дочки. В один прекрасный вечер Андрей сидел с ней в саду и болтал о чем-то. Иван Семеныч подошел к ним, угрюмо посмотрел на Варю и отозвал Андрея в сторону. «Послушай, братец, – сказал он ему, – тебе, я вижу, весело болтать с моей единородной, а мне, старику, скучно; приведи-ка кого-нибудь с собой, а то мне не с кем в карты перекинуть; слышишь? Одного тебя я пускать не стану». На следующий день Колосов явился с Гавриловым, и бедный Севастьян Севастьяныч в течение целой осени и зимы играл по вечерам в карты с отставным поручиком; этот достойный муж

обходился с ним, как говорится, без чинов, то есть ужасно грубо. Теперь вы, господа, вероятно, поняли, зачем Колосов, после смерти Гаврилова, привел меня с собой к Ивану Семенычу. Сообщив мне все эти подробности, Колосов прибавил: «Я люблю Варю, она премилая девушка; ты ей понравился».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Комментарии

1.

…пачки синих полинялых ассигнаций – бумажных денег пятирублевого достоинства. Ассигнации были введены в России в 1769 г. и находились в обращении до 1843 г., когда в результате реформы министра финансов графа Е. Ф. Канкрина они были заменены кредитными билетами. По официальному курсу, существовавшему в 1830-е годы, один рубль ассигнациями равнялся 27 коп. серебром.

2.

Закурив пахитос… – Пахитос пли, чаще, пахитоска (от испанского pajitos – соломинки) – тонкая папироса.

3.

Он вчера вечером вернулся с кондиции. – Слово кондиция (от латинского conditio) в значении: условие, договор – употреблялось в русском языке еще в XVIII в. Выделив это слово курсивом, Тургенев отметил, что новое его значение – домашние уроки, репетиторские занятия в частных домах, – сложившееся в семинарской среде, а затем перешедшее в студенческий обиход, еще не вошло в общелитературный язык и ощущалось как жаргонное. О случаях употребления писателем этого слова см. заметку Т. А. Никоновой: Т сб, вып. 3, с. 175. Ср. у Гоголя в «Вие» (1835): «Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали за то в год новые сапоги, а иногда и на сюртук» (курсив Гоголя).

4.

Я вижу, господа, вы не любите приятного и придерживаетесь единственно полезного. – В этом ироническом замечании термины «приятное» и «полезное» употреблены в том смысле, какой им придавала почти до середины XIX века школьная «теория словесности», не выходившая за пределы архаических традиций классицизма. Согласно поэтике классицизма «приятное» заключалось обыкновенно в живых описаниях предметов; «полезное» выражалось в повествовании о мыслях и поступках людей, которые своим примером должны были поучать читателей (см., например: Остолопов Н. Словарь древней и новой поэзии. СПб., 1821. Ч. 1, с. 109–110 и 472–473).

5.

То, что Байрон называет «the music of the face»… – В поэме «Абидосская невеста» Байрон, описывая красоту Зюлейки, говорит: «the Music breathing from her face» («музыкой веяло от ее лица» – «Bride of Abydos», Canto 1, 179). К этой строке поэт счел необходимым дать примечание, в котором указывал, что это выражение «находили странным», и защищал его правомерность. При этом он ссылался на мнение m-me де Сталь, которая в своей книге «О Германии» писала о возможности сближения музыки и живописи: «…мы сравниваем живопись с музыкой и музыку с живописью, потому что чувства, которые мы испытываем, обнаруживают сходство там, где холодное наблюдение ее видит ничего, кроме различия» (De l’Allemagne, par M-me la baronne de Staël-Holstein. Tome troisième. Paris – Londres, 1813, p. 142).

6.

…у нас на Руси завелись «руководства», чрезвычайно благодетельные для наставников… – Белинский в своих статьях и рецензиях неоднократно язвительно высмеивал подобные руководства. Так, в 1844 г. он писал: «Нет ничего гибельнее для способностей учащихся

молодых людей, как краткие руководства, которые ничего не говорят ни рассудку, ни воображению, а должны усвояться только памятью» (Белинский, т. 8, с. 225; см. также т. 9, с. 273).

7.

On talk not to me ~ of our glory… – Начальное двустишие из стихотворения Байрона «Стансы, написанные на пути между Флоренцией и Пизой» («Stanzas written on the road between Florence and Pisa», 1821).

8.

Месяцев шесть тому назад Колосов ~ познакомился с господином Сидоренко. – В журнальном тексте повести было: «Месяца четыре тому назад…» Внеся в издание 1856 г. поправку, Тургенев всё же не устранил до конца допущенную им неточность: по хронологии событий в повести знакомство Колосова с Сидоренко состоялось примерно за год до описываемой сцены, которая происходила весной, вскоре после того, как «в половине апреля» умер Гаврилов. Познакомившись с отставным поручиком тоже весной, Колосов летом стал навещать его дом «всё чаще и чаще»; Гаврилов играл в карты с Сидоренко «в течение целой осени и зимы» (см.: наст, том, с. 12, 17 и 18).